

Юрий Гурфинкель

Анастасия

Коктебель

Рассказать о ней — значит выхолостить словами живую, теплую, бьющуюся в лохмотьях почти столетнюю жизнь.

В 1977 году ей было восемьдесят два.

На фотографии в книге ее знаменитых “Воспоминаний” — присмирившая пожилая гимназистка. Я же увидел ее в тот день совсем иной. Сконцентрированность энергии. Горбоносая, с волевым, как у Данте, подбородком.

Сидела сутулясь, уперев ноги в низкую табуретку. Мимо ходили больные, медсестра то и дело звякала шприцами. Почти в изголовье ее койки шумно работал, выключаясь с громким “бу-бу-бу”, холодильник. Но кажется, ничто не могло ее отвлечь от блокнота, лежавшего на коленях, куда она сосредоточенно, не отрываясь, что-то записывала.

Ее нередко фотографировали и чаще всего неудачно: какая-то бытовая заземленность. “Бабушка” из дома престарелых. Мало кому удавалось передать необыкновенность ее лица, напряженность работы мысли — все то, что с первого же мгновения так бросалось в глаза.

— Кунины, — обрадовалась Анастасия Ивановна, откладывая на кровать блокнот. — Знаю, они вам собирались позвонить.

Какая-то необычайная теплота шла от нее. Я был смущен и скован. Сказал, что работаю здесь, в больнице, в отделении реанимации, завтра же попрошу, чтобы ее перевели из коридора в палату, там будет спокойней, удобней работать.

— Нет, не надо! — воскликнула она. — Мне и здесь хорошо. В лагере спала посреди барака, и то ничего. А здесь света, воздуха достаточно. Пожалуйста, не беспокойтесь.

...Душная — потому что лето и много вещей, — тесная комната в коммуналке на улице Горького. Собираюсь уходить. А. И. подает мне пакет с пшеном, просит подальше затолкать в мусорный контейнер в углу двора.

— Может, посыпать голубям? — Знаю ее страсть кормить птиц.

— Ни в коем случае. — И поясняет: — В пшене завелись мелкие жучки. Если его высыпать, голуби их склюют.

— Ну, склюют. — Глупо улыбаюсь. — И что же, разве они ядовиты?

С легким раздражением, сейчас же укрощая его, потому что — гость, врач:

— А нам (подразумевается — людям) кто-нибудь давал право распоряжаться чужой жизнью, уничтожать ее?

Вскоре всему, что находилось в этой тесной комнате, суждено было переехать в другое место: литературные генералы, уступив настойчивым просьбам высокопоставленного поклонника А. И., выделили ей однокомнатную квартиру неподалеку от Садового кольца на Большой Спасской.

И начались отчаянные метания меж двух огней. Годы прибавляются, одной без посторонней помощи не под силу. Но и с семьей сына, с правнуками, с шумными выяснениями отношений... Соединить свою новую квартиру с его квартирой? Не менять, жить одной? Но как сделать, чтобы не испытывала обиды семья сына, которой, получается, как бы пренебрегли? В конце концов соображения творческой независимости, потребность в уединении взяли верх, и в то же время найден был компромисс: переехать на Большую Спасскую, а прописаться у сына в Орехово, закрепив за ним новую. Воистину сгубил москвичей квартирный вопрос. Кому непонятны эти маневры, цель которых не упустить жилплощадь. Иначе после смерти владельца она перейдет государству. А тут “владельцу” уже далеко за восемьдесят.

“Кто знает будущее? Будущего не знает никто”. Этот рефрен из повести А. И. “Моя Сибирь” загадочным образом вплелся и в эту “квартирную” историю. Сын ее Андрей Борисович — “Андрей”, “Андреюшка”, как она его часто называла, — ушел из жизни раньше матери.

Удивительно, как много было в этой стандартной однокомнатной квартире скрытых пространств, заповедных углов.

Помимо привычных трех измерений в ней существовало еще какое-то. Она уходила в него, как Алиса в зазеркалье, то волшебным образом превращалась в девочку, сопровождаемую огромным ньюфаундлендом, то брела по улицам Рима, опаленная потерей матери, своими первыми нахлынувшими чувствами и разочарованиями. И вдруг появлялась в хмурый московский денек усталой сказочницей, отрешенной от быта. Как она относилась к смерти? Временами мне казалось, А. И. рассматривала ее как некую разновидность жизни, где продолжали существовать Максимилиан Волошин, сестра ее Марина, Осип Мандельштам, Борис Пастернак и еще многие, кого она любила.

Эту квартиру, как и ту, что была на улице Горького, никак нельзя было назвать уютной. Да и что такое уют? Выдержанность стиля? Внутренняя гармония всех составляющих его элементов? Но сюда вещи, казалось, сбежались на короткое время, так, постоять, чтобы при случае разбежаться в разные стороны. Они и о побеге сговориться не сумели бы — слишком разные у всех были характеры. Невозможно

представить, чтобы старинный, “благородных кровей” шкаф, откуда безмолвно в своем патрицианском высокомерии взирал гипсовый император Тиберий (позже к нему присоединился принесенный кем-то цветной портрет Горбачева с еще не подчищенным сургучным пятном в форме Новой Зеландии), нашел общий язык с продавленным диванчиком под истертым плюшем. Или чтобы аристократический кабинетный рояль с инкрустациями — память о матери, талантливой пианистке — нашел общий язык с колченогим столом. Но в том-то и дело, что у каждого из них было свое предназначение в этом доме, и, как актеры, занятые в одном спектакле, они покорно исполняли свои роли.

Вы подходите к двери и звоните три раза. Непременно три. Иначе за дверью затаится тишина и не откроют. “Благодарю покорно, — говаривала хозяйка. — По голове получить не хочу!” Не приколота ли к черной дерматиновой обивке двери записка с просьбой не беспокоить? С трех до пяти такую записку можно было часто увидеть.

Обычно я приходил после суточного дежурства. А. И. сразу же открывала и приглашала в кухню. Всегда считала своим долгом накормить или хотя бы напоить чаем.

Прихожая настолько тесная, что вдвоем раздеваться в ней невозможно. На полу много стоптанных тапочек — гость должен переменить обувь, а не таскать на подошвах грязь в комнату.

В кухне уже ждут гречневая каша, салат из свеклы, чечевичный суп под рассуждения о похлебке, за которую Иаков продал право первородства.

— Вкусно. Вы сами готовили?

— Ну конечно! Ешьте, ешьте, вы после дежурства. — И вдруг спохватываясь: — Я, свинья, опять забыла! — Вставала. И я вслед за ней. Легким движением крестила стоявшую на столе еду, тихо, хотя и с нажимом, как бы утверждая для себя истинность произносимых слов, говорила слова молитвы.

Ее набожность мне поначалу казалась чрезмерной, даже показной. Но чем лучше я узнавал ее, тем больше открывалось мне, что дело совсем, совсем в ином. То мне казалось, что внутри ее все время идет спор о вере и этот нажим в интонациях нужен, чтобы самой себе что-то доказать. И все это было, конечно, моим заблуждением. Подлинная причина ее страданий открылась мне годы спустя во время нашей поездки в Коктебель на съемки фильма о Марине Цветаевой.

Мы сидим в кухне. Со всех стен на нас смотрят кошки и собаки — с прошлогодних календарей, наклеенные приходящими доброхотами.

Вообще, надо сказать, кухня меньше всего отражала сущность ее природы. Аскетизм. Неприятельность в еде. Луковицы в банках, прорастающие зелеными перьями. Да,

это было ее. И забавные собачьи морды, глядящие с календарей, ей были по сердцу. Об одной кошке, изображенной на большой цветной фотографии, в жеманном испуге поджавшей розовые губы, говорила с восхищением:

— Ну вылитая Доброслава! Поразительно, правда?

Последние годы зрение ее еще больше ухудшилось — в сильных очках и с линзой с трудом разбирала печатные тексты. Так что многое из той безвкусицы, что появлялась на стенах ее квартиры, она просто не видела.

Зато комната при всей разномастности вещей была *ее*. Служила ей гостиной и спальней, рабочим кабинетом, хранилищем архива, библиотекой и даже выставочным залом — сюда переехали из “папиного” Музея работы правнучки Оли, ныне живущей в США.

Но была здесь еще и некая сокровенная часть. За шторой, скрытая от посетителей, находилась маленькая спальенка, куда обычно редко кто допускался. Там помещалось самое драгоценное, все, что так или иначе радовало ее душу.

Верхнюю часть стены над узловатым диваном занимал холст с обтрепанными краями — копия растрескавшимся масляными красками картины Васнецова “Три богатыря”, исполненная сыном Андреем в нежном возрасте. Работа сама по себе наивная, полудетская. Тем, видимо, и улаждавшая материнское сердце. А ниже, у самого ложа, уже настоящая ценность — две акварели Максимилиана Волошина. Коктебельские пейзажи. Серебристый и охристый. Киммерийская степь, море.

И еще в этом сокровенном, отгороженном от всех пространстве помещалась домашняя церковь — иконостас от пола до потолка с потускневшей позолотой дерева, закапанного воском. Какие молитвы шептали здесь ее пересохшие губы, за кого просила она?

В изголовье ее неудобного ложа стояла резная тумбочка, а что было в ней и за диванчиком, я уже не знаю. Прятал однажды в пестрый шерстяной носок по ее просьбе деньги, долг, который принес, — опасалась случайных гостей, должны были вот-вот прийти.

Как она работала? “Жизнь надо ловить за хвост”, — говорила с улыбкой. Так и поступала. В Голландии — Амстердаме, в Эйнхаузене, в Утрехте — почти каждый вечер, чему я свидетель, раскрывала блокнот форматом в лист писчей бумаги и, погрузившись в свои мысли, записывала впечатления прожитого дня удлиненными петлистыми буквами, наползавшими друг на друга.

Дома писала обычно за круглым столом, стоявшим в центре комнаты под лампой. Вены на лбу вздувались, выдавая напряжение мозговой деятельности. На столе тесно. Букеты засохших и свежих цветов в литровых банках, книги, большей частью подаренные, папки с рукописями, письма. Совсем немного было места для того, чтобы

положить листы бумаги. А то его и вовсе не находится. Тогда она берет толстый картон, на него два листа бумаги, между ними копирку — и устраивается в кресле возле рояля.

“...В Москве мороз. Накануне нашего отъезда передают: фронт холода распространяется на юг. Тревожно, конечно. В сумке моей лекарства на все случаи жизни...”

Это уже мои записи. Да, ноябрь 1988 года. Почему-то мне казалось, это было хоть и поздней осенью, но не в ноябре, раньше. Мы собираемся в Коктебель. Снимается фильм о Марине Цветаевой, и режиссер упрямил А. И. принять в нем участие.

— Поедете со мной? Андрей меня одну не отпускает. А с вами — согласен.

10 ноября

Темный слякотный день. От площади Трех вокзалов до Садово-Спасской совсем недалеко. Застаю А. И. взвинченную почти бессонной ночью — собиралась в дорогу. Помогал ей беззаветный, легкий, как паж, Саша Ковальджи.

В комнате не пройти — все завалено вещами. Чемодан, рюкзак, пакеты, свертки. Как мы все это унесем? А еще сумка с дыней, продукты. Все здесь собрано с предусмотрительностью не нынешнего, а того, утраченного времени. И как деталь ушедшей эпохи, матерчатый чехол с тесемками, натянутый поверх чемодана.

...Зимнее пальто на вате — на себя. Драповое (полегче) в рюкзак на случай теплой погоды, все-таки Крым. В отдельную сумку — четыре вида обуви (чтобы не ходить в мокром и менять по необходимости).

Курский вокзал. В толпе временами выныривает чемодан в холщовом чехле, мелькает коренастая фигура директора картины. Оператор, инженер звукозаписи, осветители, наконец, сам режиссер Дмитрий Иванович Демин в надвинутом на лоб, как у монаха-капуцина, капюшоне куртки. А за ними, бесстрашно ступая в мгновенно смыкающуюся за спиной толпу, Анастасия Ивановна — в подслеповатых очках. И что без нее все эти богатыри, обвешанные кинокамерами и софитами!

Едем. У нас с А. И. отдельное купе. В соседних двух — вся кинобанда с аппаратурой. Наши пальто висят по соседству на плечиках. Две наши оболочки. Мое пальто, подаренное родителями, и пальто А. И., купленное Плюцер-Сарно, оскорбленным ветхостью ее прежней одежды. Настолько они самостоятельны, независимы от нас, своих хозяев, что А. И. не выдерживает и с неожиданной ребячливостью вставляет рукав моего пальто в карман, а рукав своего продевает в получившийся крендель. Так что теперь они висят “под ручку” — комично-чопорная пара. И почему-то вспомнился сконфуженный А.П.Чехов, застигнутый кем-то из его близких в тот момент, когда он накидывал шляпу на солнечный зайчик на скамейке.

Утром с верхней полки снимаю тот самый фибровый чемодан в холщовом чехле. Оттуда извлекается темно-зеленый костюм (тоже чей-то подарок).

Вся съемочная группа теснится в проходе с софитами, камерами, каким-то загадочным серебристым предметом, свернутым в рулон. За окном монотонно скользит уходящая к горизонту мокрая украинская степь. Бурая трава, голые деревья, полустанки, косой дождь. Все это услужливо подхватывает отлетающая даль и где-то позади полотно, должно быть, складывается в холмы Средне-русской возвышенности.

Загадочный предмет оказывается ковриком из алюминиевой фольги. Его вешают в купе на стену, напротив А. И. Она преобразилась, помолодела, костюм ей к лицу. Включаются лампы. Полусвет осеннего дня в купе сменяется ослепительным солнечным, отчего бегущая за окном степь становится еще мертвенней, печальней.

В самый разгар беседы в монотонный гул колес вонзается лавина звука.

На встречном пути — товарный. Цистерны вытягиваются в черную грохочущую трубу. Звукооператор морщится. А. И., ничего не замечая, продолжает развивать свою мысль. Ее просят повторить, что-то нужно перезаписать, она недоумевает.

Режиссер доволен интервью (и поныне не знаю, сохранились эти кадры в поезде или нет). Вообще-то цистерны в этот день ломают все наши планы. Поезд уже давно должен был подъезжать к Феодосии, но мы стоим, не дотянув какую-то сотню километров до крымского перешейка. Говорят, впереди авария.

И вот мы трогаемся. А спустя час или больше наблюдаем следующую картину: поваленные набок цистерны, вывороченные колесные пары, ремонтные рабочие в оранжевых фартуках поверх телогреек меняют исковерканные рельсы.

Уже на закате подъезжаем к Коктебелю. Сизо-дымчатые силуэты гор, персиковый тон неба. И пронизывающий ледяной ветер. А. И. всматривается в их абрис, узнавая и называя: Сюрю-Кая, Святая, Кара-Даг.

— А вот там, видите? Вглядитесь получше. Узнаете?

И уже победоносно и в то же время радуясь, что открывает мне глаза:

— Максин профиль!

Конечно, я читал об этом и в повести Марины Цветаевой “Живое о живом” и в “Воспоминаниях” А. И. тоже читал. Но увидеть своими глазами, как природа гениально угадала, обрезав ту часть горы, которая смотрит в море так, что получился профиль Максимилиана Волошина — массивная Зевсова голова — да еще созданный с такой точностью, в это трудно поверить, пока не остановишься, ошеломленный сходством.

Наши комнаты по соседству. В корпусах пусто — не сезон. Говорят, летом здесь бурлит жизнь: пишут романы и крутят романы, в каждом номере стрекочут пишущие машинки. А сейчас лишь ветер шуршит сухой листвой и где-то неподалеку в рано упавшей темноте ритмично повторяющийся тяжелый гул. И пахнет оттуда морем.

К ночи вокруг фонаря начинает кружить крупный снег, словно это Север, а не Крым.

А к утру вся южная зелень под снегом и все звенит льдом.

А. И. осторожно ступает, опирается на мою руку и вдруг ахает: вчерашние бархатные темно-рубиновые канны на сочных стеблях сражены морозом — черные ломаные линии, цвет запекшейся крови.

Мы направляемся к берегу, и уже через несколько десятков метров за ветками, отяжеленными снегом, открываются пепельные неприветливые валы.

Мы идем по набережной, любуюсь необычностью зимнего Коктебеля. А. И. поддевает носком ботинка пляжный снег. Только собираюсь снять ее на фоне гор, как вдруг слышу за спиной шумное дыхание:

— Анастасия Ивановна, с приездом! — Некто округлый с ноздревскими баками на ходу расчехляет фотоаппарат. — Разрешите я вас щелкну.

У А. И. выражение лица египетской мумии — отрешенно-заоблачная улыбка. То ли не слышит, то ли поглощена своими мыслями.

— А мне вечером в столовой сказали, что вы приехали. И сами собой сложились стихи.

И, откинув голову, патетически с тоскливым подвыванием:

Скажи, скажи, Анастасия!

Ну, как, еще стоит Россия?

И дальше все в таком же роде. Закончив декламацию, вновь стал жизнерадостно суетлив, предложил А. И. располагать им. И сразу же получил задание: известить о нашем приезде старинную знакомую А. И. Изоргину. “Мусю”, как она ее называет.

Мы ужинаем в столовой пансионата. А. И. здесь по старой памяти кормят вегетарианским. Маленькая, хрупкая, она плотоядно ест котлету из моркови. А за соседним столиком режиссер со своим могучим киноинстинктом обсуждают план завтрашних съемок. Завтра — самый важный день. День, из-за которого затевалась эта поездка.

Всю ночь море, тяжело переваливаясь, ходит вокруг дома. Глухой удар — недовольно откатывающийся рокот. Новое погружение в паутину сна и — внезапный прорыв к поверхности. Окончательно просыпаюсь. Голова работает необыкновенно свежо и ясно. Обманчива ли эта ясность? Ощущение, будто удары волн вошли в резонанс с биениями сердца. Вдруг — как необыкновенное откровение — мысль о сходстве Волошина с Пьером Безуховым. Почему раньше это никогда не приходило в голову? Обстоятельства могут измениться, но не архетип. Живи Пьер Безухов в XX веке, вполне мог бы, как Волошин, исходить с этюдником землю Испании, изучать в Париже гравюру Утамаро и Хокусаи, стать прародителем российских битников.

Но постепенно очевидность этой мысли становится все более размытой, обманчивой. Сумрачное утро с узором зимы явственно проступает в окне.

Застаю А. И. с коробкой “гомеопатии”. Ночью почти не спала из-за давления. Гомеопатические шарики, увы, не помогают. Приходится обратиться к традиционной медицине.

Насколько опасно для живого возвратиться в окаменевшее прошлое? Когда-то стоял дом на диком берегу, и коренастый человек с широкой шевелюрой выходил встречать московских и петербургских поэтов, художников. Он носил сандалии на босу ногу, полотняную оранжевую хламиду. Одним это казалось нарочитым, другие видели в этом эталон естественности.

Марина — почти в запальчивости: *“Парусина, полынь, сандалии — что чище и вечнее, и почему человек не вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина, и сменяющееся, но неизменное, как сандалии и полынь) — чистое и вечное — грязному (городскому) и случайному (модному)? И что убийственнее — городского и модного — на берегу моря, да еще такого моря, да еще на таком берегу! Моя формула одежды: то, что не красиво на ветру, есть уродливо”*.

Вторит ей Анастасия: *“...Да, так. Зевс, Нептун, нечто природное, огромное, нечеловеческое. Распростершее руки — всему! Без меры интимное. И дарящее человеку — счастье!..”* Таким она увидела его здесь, на пороге этого дома.

Давно уже нет того Коктебеля, берег застроен безликими санаториями, в подъездах пятиэтажек свален мусор. Но есть нечто положительное и в недостаточном зрении. Можно все это не увидеть, а сфокусировать его на том, что неподвластно времени, сузить поле обзора, оставив в нем только горы, море, Дом.

Сейчас, семь лет спустя после нашей поездки, держу в руках глянцевые открытки волошинского дома в окружении летней зелени. А в то ноябрьское утро он был гол, с сизой патиной изморози на стенах из туфа. Розовость камня, необычная его архитектура проступают особенно явственно. Фасад, глядящий на штормовое море, напоминает алтарную часть церкви.

И ледяные ступени.

Возле них мы остановились, и пес, сопровождавший нас, приветливо вилял хвостом, намереваясь подниматься по лестнице с нами.

— Добрый дух этого дома, — сказала А. И. размягченным голосом, каким всегда говорила с животными. — Душенька! А мы — свиньи. Ничего не захватили для него. Можно было взять хлеб с сыром.

12 ноября

“Что-то есть фантастически-неправдоподобное в том, что Анастасия опять поднимается по этим ступеням, как бы по лестнице времени. Это так же невероятно, как если бы с нами рядом сейчас оказались Марина, Мандельштам, Максимилиан Волошин — со всем Серебряным веком русской поэзии, — сверстники Анастасии и этого века неистощимые участники”.

Внутри холод sklepa, хотя, говорят, топили с раннего утра. Прикасается к знакомым предметам с недоверчивой улыбкой. Внезапно раздражается: стол не на месте, не там, где стоял при Волошине. Телевизионная команда, или, как А. И. их называет, *телевидчики*, разбросали по дому провода, смуглое око телекамеры наставлено на старинное кресло, пока еще пустое.

Страх, что она здесь застудится или, зацепившись за что-нибудь, упадет, в первый момент подавляет все остальное. И лишь теперь, когда ее в “концертном” костюме усаживают в кресло, а рядом ставят тепловой рефлектор, оглядываюсь и понимаю — это в самом деле необыкновенный дом. Пять высоких полукруглых окон. У каждого свое направление обзора. Крайнее правое — на туманные горы, заснеженный берег. Средние в сторону моря. И кажется, оно подступает своими пенными валами прямо к порогу.

Вспыхивает свет, софиты выхватывают сидящую в кресле хрупкую фигурку в темно-зеленом костюме с седой прядью на лбу. И странное ощущение ирреальности происходящего. Еще дальше уходит в тень, в глубину мастерской алебастровое лицо египетской царицы Таиах, еще пасмурней за окном небо, а здесь свет яркий, как в операционной. Звукооператор в наушниках выверяет качество звучания. Кивает головой: можно.

Начинается запись.

И в этот момент у меня за спиной в тишине неожиданно клацает затвор фотокамеры и следом урчание автоматической перемотки пленки. Звук негромкий, но в тишине какой-то корезающий. Оборачиваюсь. Поверх линз объектива пронзительный глаз с пристреливающимся зрачком, готовится делать новый кадр, а по бокам от фотоаппарата меховым продолжением знакомые бакенбарды.

С утра еще новый знакомец успел прокричать в ухо А. И. очередную высокопарную глупость (“Простите, зачем так громко? Я ведь слышу”) и, видимо, там же, в столовой узнал об интервью. Теперь барда просят удалиться или хотя бы прекратить щелкать.

Ей задавали вопросы. Бледные барашки ровными стадами шли за окнами, кудрявились на ветру, прежде чем обрушиться на сизую гальку в пенистых потоках от предыдущих волн. Она отвечала то кратко, то обстоятельно. Порой накатывающий гул за стенами становился особенно громким. И был момент — так уже было ночью — биение волн вновь вошло в резонанс с пульсацией сердца.

Трудно объяснить, что изменилось. Нет, это, конечно, только показалось, но в какую-то минуту мне стало не по себе, будто неожиданный бледно-фиолетовый луч упал на ее лицо: печальный блик уже не столь отдаленной... Нет, нет!

Просили прочитать стихи. Те, что звучали в этой комнате.

— Когда? Их читали, — с нажимом, — *здесь* не один раз.

— Ну, скажем, в 1911, когда вы впервые сюда приехали.

Призраки Серебряного века настороженно прислушались в своих нишах. Нет, все было в полном порядке: сейчас здесь сидел совсем другой человек. Жизнь изрядно потрудилась. Перетерла кожу до мелких морщин, слепила из них отвислые складки у носа и рта, а в остальном убрала все лишнее, подчеркнув волевою горбинку носа и твердость подбородка.

Мы быстры и наготове,

Мы остры,

В каждом взгляде, жесте, слове

Две сестры, —

начала она сильным наполненным голосом. Те, что читала здесь не раз в унисон с Мариной.

Она читала, а я пытался представить и дополнить ее голос голосом Марины, слить их в один. Но мне это не удавалось. Одна мысль не давала покоя — о том, что к заклинаниям поэтов Судьба прислушивается. Прислушивается внимательно и, увы, понимает буквально.

Бремя хлеба...

Нет, не довелось Марине Ивановне тяготиться им ни в Чехии, ни во Франции, ни в России, когда она опять сюда вернулась. Напротив, только нужда. Провидение, как сказочный джин, исполнило все, о чем его просили. Оно не разбирается в тонкостях

поэтических метафор. Выкрикнутые в пространство слова приводят в движение силы неведомые. “Поэта далеко заводит речь”.

Нет, сейчас уже не слить их голоса в один, как не слить в одну их судьбы, начинавшиеся так похоже. Марине — нарастающая сила голоса, эмиграция, нищета, позор Эфрона, запутавшегося в сетях НКВД. Репатриация, Болшево, аресты мужа и дочери, своенравный Мур, шантаж неусыпных чекистов, поставивших на ее тропе стальную петлю. Судьба Анастасии — лагеря и пожизненная ссылка, отмененная смертью Сталина. Властное разрастание таланта. После напечатания в журнале уже первых глав “Воспоминаний” Б. Пастернак отозвался письмом со словами: “Аленька, bravo!”

Я слушаю рассказ А. И. о Коктебеле, об этом доме, и у меня возникает странное ощущение, что это не она, а какой-то другой человек, которого давно уже нет в живых, принимал участие в розыгрышах, заплывах в море, в пирушках, чтении стихов. Другой, другой...

Время не выдает своих тайн так, задаром. Оно расчетливо берет взамен молодость, силу. Отнимает яркость красок, свежесть восприятия. Этот дом, где когда-то кипела жизнь, превратился в пыльную историческую реликвию, почти окаменелость. Есть что-то фантастическое (при всей обыденности происходящего) в том, как она ходит по этим комнатам, касается корешков книг, вглядывается в агатовые глаза царицы Таиах.

Смотрю на ее руку, неуверенность, с которой она проводит по предметам, населяющим эту комнату. Так трогает вещи слепой, которому нужно убедиться в реальности их существования, то ли прочувствовать их фактуру.

Вопросы все заданы. Гаснут софиты. Возвращаемся в ноябрь 1988-го.

“...Утром в поезде на обратной дороге из Коктебеля проснулся и увидел рядом на полке одеревеневший восковой профиль А. И., и так вдруг защемило сердце: неужели...”

Это уже из моих записей того времени.

“...Затаив дыхание, прислушивался, пытаюсь различить звук ее дыхания сквозь ровный перебор колес... И вспомнил последний день в Коктебеле, кладбище, ее, поднимающуюся по скользкому глинистому склону, идущую по мокрой траве между могил.

Покачивался впереди в чьей-то руке мятый алюминиевый бидончик с астрами. Уже протопал где-то рядом за крестами и могилами похожий на лешего поэт-графоман. А. И. поднимается без видимых усилий, временами оскользается, и тогда я чувствую на своей руке необременительный груз ее легкого тела, отяжеленного пальто Плюцер-Сарно.

Поднялись почти на самый верх холма. А поэт-графоман уж тут как тут. Вытащил толстую записную книжку и, морща лоб, профессионально переписывает с крестов имена, фамилии...

— Ну вот, пришли, — говорит А. И., переводя дыхание.

Среди других выделяется крест на могиле матери Волошина, сделанный, как говорят наши провожатые, по его эскизу. Неподалеку похоронен Алеша — второй сын А. И., умерший в пять дней от дизентерии в июле 1917-го. Спокойно, без какой-либо слезливости А. И. крестится, поминая всех, кто здесь похоронен. Согнувшись, почти на коленях пробирается между ветками жесткой кладбищенской зелени к могиле сына.

А поэт-графоман все пишет, вносит в свою пухлую книгу, громко переспрашивает:

— Как правильно — тамарис? Ага, понял. Он когда цветет? Все лето? Это хорошо”.

Прошло какое-то время после нашей поездки в Крым. Лента о Марине была готова. Намечался ее показ по телевидению.

Я был в тот день у Анастасии Ивановны, когда в ее тесно заставленную комнату втащили телевизор — свой она никогда не пыталась завести — и в назначенный час посадили у экрана. Все время, пока шел фильм, она смотрела какими-то невидящими глазами с горестной улыбкой. Мне даже казалось, она плохо различала происходящее из-за зрения, отчасти из-за отсутствия привычки и нелюбви к этому неприятному ящику с прыгающими полосами на экране. Но после окончания А. И. сказала вполне определенно:

— Я видела Марину в 1927 году в Париже. Вовсе не гуляла она вдоль гнилого канала (в фильме, на мой взгляд удачном, передавшем гибельный дух времени, показаны места, где Марина Ивановна жила во Франции), лежала на диване, курила и молча плакала. Ее лучшие утренние часы вместо литературной работы ушли на готовку, стирку.

А вскоре “Юность” напечатала ее рассказ “Зимний старческий Коктебель” — путевой очерк об этой поездке.

На многих произвела впечатление ее смелость — в таком возрасте отправиться в столь неблизкие края. Но еще больше читавших восхитила свежесть ее восприятия, внутренняя свобода, с которой эта вещь была написана. Теперь имя А. И. уже не замалчивалось. “Литературная газета”, например, посвятила целый подвал разбору художественных достоинств рассказа. У меня же он вызвал чувство, какое бывает, когда стоишь за спиной художника, преобразующего увиденное в пейзаж на полотне. Точность рисунка, мазок за мазком создают новые объемы. Небо и пространство, люди и деревья волшебным образом оживлены, и, кажется, это всегда теперь будет существовать, хотя уже темнеет, многие разошлись по домам и совсем по-другому легли тени деревьев. И всякий раз, когда я его перечитывал, одна фраза особенно

обращала на себя внимание. На ней не было сделано акцента, но мне она кажется ключевой для понимания характера А. И. : “...в парадном костюме сижу в кресле и, смеясь внутренне, отвечаю на вопросы о почти легендарной уже старине...”

Голландия

Мне казалось, она будет жить долго. По меньшей мере, до своего — невероятно представить — *столетнего* юбилея. Смеясь, с грустью говорила: “Боюсь этой трехзначной, нечеловеческой цифры. Наверно, буду походить на ведьму”.

А в начале апреля 92-го, за полтора года до ее смерти (теперь я уже привык произносить это слово применительно к ней), возникла идея ехать летом в Голландию. Оттуда прислали приглашение на конгресс писательниц-женщин и международную книжную ярмарку.

Анастасия Ивановна разыскала меня по телефону.

— Сможете? Я сказала *им*, что согласна, но только если — с вами. Не отказывайтесь. Мы ведь хорошо съездили в Коктебель.

Это было заманчиво. Еще бы — Голландия! Но слишком памятен был прошедший год, ее недавний тяжелый грипп с воспалением легких. Как она выкарабкивалась из него, знают только друзья и близкие, дежурившие днем и ночью у ее постели.

— Вы всегда осторожничаєте. Как кот — лапой, — сказала она, как мне показалось, легкомысленно. — Уж если — судьба, ну так у вас на руках, когда-то все равно ведь — придется.

Как обычно, все затянулось: оформление паспортов, виз. Амстердамская затея уже началась, оттуда ежедневно звонки, а мы все еще в Москве.

Наконец — день отъезда.

Багажник издательского автомобиля принял потертый чемодан, перевязанный для крепости бельевой веревкой, и мы, словно на гигантской карусели, в два прыжка перенеслись над пропастью, разделяющей дом на Большой Спасской и аэропорт в Амстердаме.

Перед отъездом А. И. не то чтобы трусила, но все же беспокоилась: перенесет ли самолет. Опыт воздухоплавания у нее был. Как ни странно, в ссылке. Подняла тяжелое бревно и — отслоилась сетчатка глаза. Она настояла, чтобы ее отправили к окулисту, и вместе с мешком писем и провожатым ее втиснули в почтовый самолет. Разбег. Кочки на земле сменили ямы воздушные, за час уболтало до рвоты.

Теперь же предстояло целых три часа полета. Будет ли тошнить в воздухе? Говорят, накануне нужно плотно поесть. А может быть, лучше лететь на голодный желудок?

Таможенный контроль. Таможенник молодой да ранний. С улыбкой многоопытного циника:

— А я думал, *все* Цветаевы давно уже за границей.

Взгляд его падает на небольшую медную икону, высвеченную рентгеном в сумочке А. И. Объясняю: икона подарена на 90-летие и в Москву возвратится вместе с хозяйкой.

Вызывают старшего. Тот долго рассматривает гравировку на обратной стороне, по моему, больше из любопытства. Листает новенький паспорт, сверяясь с возрастом, зачем-то разглядывает небесно-голубые билеты голландской авиакомпании. Наконец все улаживается, иконка вписывается в таможенную декларацию.

Следующее: проверка на оружие. Пистолет, граната? Почему бы и нет. Не я ли подложил, чтобы пронести в самолет? Взгляды проверяющих подозрительно ощупывают ее, меня. Всякое здесь случается. А. И. безропотно отдает свою сумочку с иконой (что это — лагерная привычка к шмону?), а через минуту, миновав детектор на металл, приятно удивляется, получив ее назад.

Надо сказать, международная гильдия писательниц оказалась чрезвычайно предусмотрительной и практичной, приобретя для нас дорогие билеты. Какое имеет значение — дорогие-дешевые? Кресла иные? Кормят лучше? Да если и так, — лететь-то всего три часа? Так я думал. Но оказалось, дорогой билет позволяет просто позвонить в агентство и перенести свой вылет с одной даты на другую. Нам это очень пригодилось, когда началась волынка с паспортами и визами.

Надо ли говорить, что оба наши места находились в лучшей части самолета и мы невольно оказались в компании холеных господ, видно, часто летающих по этому маршруту и вовсе не изумляющихся уюту салона и улыбкам стюардесс. Видавшее виды нескладное пальто А. И., ее черепашьего цвета вязаная шапочка — родная сестра той, зимней из облезлой цигейки, на этом отутюженном фоне смотрелись отменным контрастом. Хорошо еще, что чемодан с веревкой и рюкзак были сданы в багаж и покоились где-то неподалеку во чреве нашей железной птицы.

Всегда интересно наблюдать реакцию присутствующих — от недоумения и сострадания до легкого шока — при ее появлении на публике в каком-нибудь мусорного вида пальто с бахромой на рукавах и цигейковой шапке, местами истертой до кожи. Был ли в этом некий ее “вызов обществу”, “протест”? Если и был, то неосознанный. Протест против чрезмерных усилий ума, растраты его на несущественное. Никогда Анастасия Ивановна это специально не декларировала. Люблю свои старые вещи, мне в них удобно. И в общем-то все равно, что вы об этом думаете. Можно было понять это так.

И при этом с первой же минуты нельзя было не заметить яркую оригинальность ее личности. Почувствовала ли это стюардесса или ее повышенное внимание относилось к преклонному возрасту пассажирки? Респектабельные господа впереди нас и рядом

развернули свои пухлые, толщиной в палец газеты, набитые цифрами котировок, биржевых цен с редкими островками текста, кто-то продолжал беседу, а А. И. подслеповато посмотрела в круглое окошко иллюминатора и тихонько перекрестилась.

Самолет уже выруливал на взлетную полосу. Здесь же, в салоне, все было как-то по-особому уютно. Легкие ритмические толчки на стыках бетонных плит, негромкий гул двигателей действовали убаюкивающе. Она задремала, уронив голову на грудь. Не проснулась и в тот момент, когда сзади самолета мощно взревело и машина, набирая скорость, понеслась по взлетной полосе, с каждой секундой все сильнее вдавливая пассажиров в кресла.

Когда А. И. открыла глаза, аэродром был уже далеко внизу. Мимо нас тянулась волокнистая вата облаков, внизу под неестественным углом проваливалась земля с пашнями, подмосковными лесами.

— Как? Уже в воздухе? Совершенно не заметила.

...Нежный, тающий во рту копченый лосось, камамбер, салат, маслины — все это после скромных московских обедов!

Из спинки стоящего впереди кресла выдвинут портативный столик, на него в отдельном судке подают тушеную морковь и зеленый горошек к мясу. А. И. заботливо перекладывает сочный бифштекс на мою тарелку со свойственной ей веротерпимостью к моему не-вегетарианству. На десерт — взбитые сливки со свежей клубникой. Но прежде по глотку красного вина — за наше необычное путешествие. Шутка ли — на высоте десять тысяч метров!

И несколько возбужденная вином, полетом, А. И. вдруг с подъемом начала читать любимые ее матерью и Мариной стихи Толстого, Алексея Константиновича.

Други, вы слышите ль крик оглушительный:

“...Много ли вас остается, мечтатели?

Сдайтесь натиску нового времени,

Мир отрезвился, прошли увлечения —

Где ж устоять вам, отжившему племени,

Против течения?”

Други, не верьте! Все та же единая

Сила нас манит к себе неизвестная,

Та же пленяет нас песнь соловьиная,

Те же нас радуют звезды небесные!
Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Смело гребите, во имя прекрасного,
Против течения!

Я уже слышал однажды, как она их читала, но здесь, в полете, это звучит необыкновенно. Рядом в иллюминаторе глубокая синева неба, близость космоса. Луна еще не села, то ли уже поднялась. Рокочут моторы, увлекающие нас к неведомой Голландии. И этот голос с виолончельным отливом. Она читает мастерски и в то же время безыскусно. Ей хочется *дать* эти стихи — дать возможность слушателю зримо почувствовать движение мысли, ее оттенки.

Сидевшие рядом деловые господа уже сняли пиджаки, пригубливали кто коньяк, кто пиво, с интересом и удивлением поворачивали головы в нашу сторону. Один даже не утерпел, шепотом спросил у меня, кто эта пожилая дама. Я объяснил: русская писательница, конгресс в Амстердаме, книжная ярмарка. Он понимающе закивал. Да, да, он слышал об этом, но конгресс, кажется, уже начался...

Закончив читать, А. И., гася пафос, шутливо добавила:

— Нечто вроде глотка поэтического вина в облаках.

Самолет начал снижаться. В круглом окошке, как в окуляре микроскопа, размытые очертания земли обрели резкость. Под крылом прошли красные черепичные крыши, ослепительно сверкнуло солнце, отразившись от стекол оранжерей. И вскоре раздались аплодисменты пассажиров — такова европейская традиция отмечать искусство пилота, благополучно посадившего тяжелую машину на бетонную полосу.

Но прежде чем выпустить уже поднявшихся со своих мест пассажиров, стюардесса с необыкновенными глазами Джульетты Мазины из “Ночей Кабири” подошла к нам и, подав руку А. И., подвела ее к двери, передав уже другой, не склонной к улыбкам (скорее стиль деловитой учтивости) девушке в такой же элегантной сине-голубой форме Королевской воздухоплавательной кампании. Вот здесь-то и выяснилось, на что способна KLM !

Мы миновали устланную ковром трубу-переход между самолетом и зданием аэровокзала и оказались перед открытым, похожим на игрушечный, автомобильчиком. А. И. после некоторого удивления и замешательства села рядом с каэлэмовской девушкой, а я устроился сзади в багажном отсеке, и мы славно покатали в аэровокзальной почти московской по скученности толпе.

Время от времени, когда впереди особенно сгущалось, девушка негромко произносила какое-то слово. Публика расступалась, давая дорогу, и мы благополучно ехали дальше, пока не оказались в том месте, где нас встречали голландские Татьяны. Не представляю, как весь этот путь — почти с километр — моя немолодая спутница смогла бы преодолеть, не будь этого замечательного средства передвижения внутри аэровокзала.

Такси — холеный “Мерседес”, арендованный организаторами конгресса, мы вместе с двумя голландскими Татьянами мчимся в нем по автобану в Амстердам, в центр города в мельтешении разноцветных, всевозможных оттенков серого, коричневого, карамельного, слитых в одну линию и как бы сросшихся боками классических голландских особняков.

“Голландия — сказочная страна. Я во многих была за долгую мою жизнь. Я бывала в Италии, Швейцарии, Германии, во Франции — юность, зрелость и старость — и вот без двух месяцев 98-ми увидела Голландию. Именно о ней говорю: “сказочная”...”

Лист, исписанный петлистыми буквами, успел пожелтеть за эти три года!

Да, так все и было — ощущение сказочности. Гостиница называлась “Красный лев”, и в отведенном номере ждал большой букет мелких кремовых роз вперемежку с дымчатыми лилиями. И ваза с фруктами. Сейчас такие отборные “выставочные” экземпляры бананов, персиков, яблок можно увидеть и на наших улицах, а в 92-м году все это казалось фантастически-райским изобилием.

Как описать наш первый вечер в Амстердаме, блеск реки и каналов, мосты, отраженные в воде, сросшиеся в единое целое кварталы разноцветных старинных особняков!

Узкие тротуары старых улиц не вмещают нас четверых. Меж двух Татьян миниатюрная Анастасия — как лягушка-путешественница из гаршинской сказки. Я же — позади, с чувством тревоги и беспокойства за темп, навязанный ей нашими молодыми провожатыми. На улицах еще много народа, но уже спускается откуда-то с небес северная зеркальная тишина. Свет неба отражается в каналах, и среди этого июльского благоденствия возбужденная речь, раскаты смеха особенно явственны, а порой и громки.

Зажигались окна, непривычные интерьеры с розоватым деревом потолков, внутренних лестниц, все окна — незанавешенные, демонстративно открытые взглядам.

Неожиданно с противоположной стороны канала послышался баритон, знакомая оперная мелодия. Нет, я не ошибся. Напористый сочный баритон разрастался, его подхватывали другие голоса, распахивались двери ресторанчиков, оттуда, словно на сцену, выходили все новые участники этого невероятного, похожего на театральное, действия.

С удивлением Алисы в сказочной стране, А. И. пыталась понять по нашим лицам — что происходит.

Между тем марш из “Аиды” разрастался, перелетал на другой берег канала. Оттуда ему вторили такие же победно-наступательные звуки. Массовка уже шла по обеим сторонам канала, вовлекая все новых участников. Татьяны охотно поясняли, что как раз сегодня закончились занятия в университете и студенты по традиции отмечают это выдающееся событие возлияниями и шумным пением.

— Когда-то в России так праздновали Татьянин день, — восхищенно комментировала А. И.

Мягкая и как будто немного виноватая улыбка, словно стесняется своего высокого происхождения, чудные темные глаза.

Мария Николаевна Львова. Мы познакомились с ней в “Русской православной зарубежной церкви” — так было написано на скромной табличке у одного из подъездов большого здания. И все последующие дни прошли под знаком ее присутствия. Оно вносило в нашу жизнь в Голландии свою краску — чистую и тоже как будто немного сказочную. Служил молодой темноволосый священник, прислуживали мальчишки-подростки.

Церковь — что-то вроде квартиры, очень скромно убрана, бумажные иконки. Обстановка почти домашняя. Кроме нас с А. И., двух Татьян и Марии Николаевны Львовой еще две пожилые дамы, плохо понимающие по-русски.

После службы мы пили чай с печеньем в помещении, напоминавшем московские кухни. Вот когда впервые зазвучала тема, одна из тем постоянного ее внутреннего спора, спора с самой собою. Тема, которая после обрела свое неожиданное и загадочное словесное воплощение в очерке “Моя Голландия”.

“...Обычно в России после крещения, например, священника приглашают “за стол”. А тут, в Голландии, вышло наоборот: после службы нас пригласил к чаю священник.

На хорошем русском языке (изучал в Париже) спросил о моих первых впечатлениях. На мое восхищение “раскованностью” голландцев ответил, что, к сожалению, обратная сторона ее — грех. “О, конечно...”

Что означало это “О, конечно...”? Согласие с ним или только видимость согласия? Вздых по собственным душевным мукам?

“О, конечно...”

В Голландии присутствие Марии Николаевны постоянно ощущалось. Но и после, в Москве, особенно первое время, нам обоим ее не хватало. А в то июльское утро, выйдя из церкви, мы сели в ее небольшой автомобиль, А. И. впереди, я — между Татьянами,

горячо обсуждающими, где нам находиться после окончания нашего срока в гостинице (обе настаивали, чтобы у них), — и Мария Николаевна повезла нас вдоль каналов, где зыбко покачивались разноцветные отражения двух-трехэтажных домов с мягкими обводами фронтонов.

Выставочное здание занимало полквартала в центре Амстердама. На первый взгляд — кирпичный монстр, без окон, вызывающе громоздкий среди изысканных амстердамских особняков.

У входа толпился народ, висели красочные плакаты книжной ярмарки. По всему чувствовалось — это событие в жизни города.

Однако внутри Дом Выставок ошеломил своеобразием стиля. Хрусталь люстр соседствовал с кирпичной шероховатостью стен, полированное дерево перил отражало свет солнца, проникающего сквозь стекла крыши. Среди этих столбов падающего сверху света дефилировала публика. Июльский зной, дававший о себе знать за стенами здания, здесь не чувствовался, в воздухе носился прохладный ветерок. Публика сочувственно поглядывала на А. И., одетую по-осеннему в пальто.

Дамы-распорядительницы нацепили нам на лацканы специальные гостевые бирки, повели знакомить с дамами, заведующими на выставке культурной программой. Те в свою очередь велели принести соки, кофе, фрукты, поглядывая на Анастасию Ивановну, восхищенно покачивали головами, приговаривая *инкридебл*, что означало — невероятно. *Инкридебл* — почти сто лет. *Инкридебл* — ясный ум в таком возрасте...

Потом повели показывать аудиторию, где завтра должно состояться выступление. Полтысячи, а может быть больше, мягких кресел, поднимающиеся амфитеатром к стеклянному потолку, сочувственная тишина. Неужели завтра, здесь? Сумеет ли овладеть вниманием такой большой аудитории, не понимающей русской речи?

Мы шли по галереям, переходам, просторным залам. Книжные развалы — чудеса современной полиграфии — зазывали к себе разноязыким хором. Не хотелось пропустить ни одну из выставленных книг. В большинстве случаев их представляли женщины. Не было здесь только книг на русском языке. И вдруг словно в нашу сторону метнулся фиолетовый язычок пламени. С сумеречно-лиловой обложки на меня смотрели глаза Марины Ивановны Цветаевой! В портрете легко угадывалась фотография коктебельского периода.

Это была книга стихов и прозы, переведенная на голландский Татьянами и еще двумя переводчицами.

Итак, завтра, здесь, в этом зале.

Большой номер в “Красном льве” А. И. обжила так же быстро, как и четыре года назад комнату в Коктебеле. Думаю, персонал этой фешенебельной гостиницы, всякое повидавший на своем веку, *такого* не видел. Всюду лежали вещи, проделавшие по

воздуху путь со Спасской. Извлеченные из обшарпанного чемодана, они нисколько не страдали комплексом неполноценности, уютно расположились в шкафу, на диване, на стульях. На коврах рассыпались гомеопатические шарики, в ванной комнате среди мрамора и зеркал гордо стояла мятая алюминиевая кружка, видимо, привезенная еще из ссылки.

Смуглая индонезийка, прибиравшая каждый день в номере, только тарасила от изумления ореховые глаза. Сегодня причин удивляться у нее было больше, чем обычно. А. И. трудно было узнать в светлом элегантном костюме, подаренном ей в Москве для этого случая Ольгой Рудаковой.

Утро было ослепительным, за окнами гостиницы мягко погромыхивал трамвай. Мы завтракали в полутемной зале среди гравюр, посвященных первым голландским переселенцам в Америку. А. И., прихлебывая кофе, говорила:

— Как вы думаете, что это будет? Я могу прочесть стихи — Маринины, свои.

Мне казалось, она испытывает волнение перед выступлением.

От гостиницы “Красный лев” до здания выставки идти было совсем недалеко — один квартал. Но мы шли более получаса. Временами останавливались, А. И. о чем-нибудь спрашивала, толпа обтекала нас, как вода камень.

Однако к двенадцати мы были у входа. Теперь здесь висела свежая афиша, где понятные слова “Anastasia Tsvetajeva...” соседствовали с другими, читать — язык сломаешь. Впрочем, времени на это не было — к нам спешили устроительницы с уже знакомым “инкридебл” на устах. Теперь, правда, звучал и новый мотив. “Фул, фул”, — говорили они с испуганными и восторженными улыбками. Зал заполнен до отказа. За время работы выставки такого еще не было. Инкридебл.

И вот — сцена. А. И. поднимается. Я же, проводив ее, спешу занять место где-нибудь в зале, поблизости. Но она просит, чтобы я сидел рядом, настаивает.

Таким образом, я оказался на сцене перед тысячью глаз, в фокусе телекамер. Неуютность моего положения возмещалась, однако, возможностью наблюдать реакцию зала. Я видел вблизи от сцены лица Татьян, приветливо нам махавших, взволнованные глаза Марии Николаевны...

Расположение было таким: справа от А. И. сидела переводчица, а на некотором отдалении стоял свободный стул для дамы, той самой, которой предстояло вести программу. Скрестив руки на груди, она курила у кулис, щурясь от дыма, поглядывала в сторону А. И. Казалось, мысленно прикидывает — какой жесткости вопросы способна выдержать пожилая леди.

...У А. И. разные оттенки голоса. Одни для друзей — уютные, насыщенные теплом. С людьми официальными голос учтив, но бывает и холоден. По-иному разговаривала с

животными. Часто можно было услышать “душенька” и обращение на вы к какому-нибудь бродячему псу с несчастными глазами.

Но совершенно особым голосом читала стихи. Ясный, глубокий. Похож на звук альты или виолончели. Свидетельствую: так читала она в Амстердаме залу, где мало кто понимал русский, но слушающему завороженно.

Поразительна ее способность мгновенно собираться, точность ответов, ирония, отмечаемая одобрительным гулом собравшихся. Поражала меня и раньше, а сегодня поразила и голландскую аудиторию потрясающая в этом возрасте память. Читает Марину, свое, часть поэмы, посвященной Дж. Конраду, написанной ею по-английски... Слушая ее, зал неистовствует, руки, кажется, сами по себе аплодируют, тогда как лица просветленны и всем уже ясно, что если Марина гениальна, то Анастасия, по меньшей мере, феноменальна. Снимает телевидение Канады и Японии. Вопросы продолжают. Поглядываю на маленький магнитофон, стоящий перед ней на столе, колесико крутится, лента неторопливо наматывается. Как хочется, чтобы сохранилось каждое ее слово, восторг зала, аплодисменты...

— *Кто были ваши родители?*

— Марина и я родились в Москве, в старинном доме со старинным укладом. Наш отец, профессор, преподавал историю изящных искусств в университете, на высших женских курсах и, кроме того, отдавал все силы созданию Музея изящных искусств, который неизвестно почему до сих пор называется Музеем имени А.С.Пушкина.

Нами в основном занималась мать. Чрезвычайно, со всех сторон талантливый человек — великолепный музыкант, прекрасный художник. Знала многие европейские языки, переводила с них. При всем этом находила время заниматься нашим воспитанием. По складу души она была романтик. В детстве читала нам сказки, позднее — легенды, учила языкам. Тридцати семи лет умерла от туберкулеза.

— *Как вы себя чувствовали после революции, продолжали писать?*

— Я писала и после революции, но долго не печаталась. А в 1937 году была арестована и отправлена в лагерь без суда, как брали многих из интеллигенции. Десять лет была на Дальнем Востоке в общих бараках...

— *Все эти годы была ли у вас какая-либо связь с вашей сестрой Мариной?*

— Мы с ней виделись последний раз в 1927 году, когда Максим Горький пригласил меня в Сорренто. Туда Марина послала мне французскую визу, и я поехала в Париж. Это было последнее наше свидание.

— *Когда вы узнали о смерти сестры?* — Дама, задававшая вопросы, шурилась, и в этой повадке чудилось что-то рысье.

— Я догадывалась — что-то случилось. Я чувствовала. Я даже видела сон... Но я надеялась, что это фантазии, что она жива, — досижу срок, и мы увидимся. А в 1947 году до меня дошла весть, что она покончила с собой. Потом мне прислали телеграмму...

— *Какова была Россия, когда вы вернулись из лагеря, — десять лет — немалый срок?*

— А я не вернулась. Только полтора года прожила у моего сына, который тоже был в лагере, далеко от меня — но к этому времени был освобожден. После чего меня снова арестовали и повезли на вечную ссылку в Сибирь — через пять пересыльных тюрем. Четыре с половиной месяца этапом — поездами... Там, в селе Пихтовка, я прожила семь лет. Об этом книга — “Моя Сибирь”. А после смерти Сталина нас стали освобождать, затем реабилитировать. Только после реабилитации в 1959 году я смогла вернуться в Москву.

Вопросы продолжались. Слушая, я испытывал странную раздвоенность. С одной стороны, желание защитить ее от жестких вопросов. С другой — за трагической судьбой цветаевской семьи открывалась потрясающая панорама российской, почти столетней, жизни, и безнравственно было бы лишить права собравшихся в этом зале знать правду об этом.

— *Можете ли вы рассказать, как отнеслись к самоубийству вашей сестры Марины. Какие, по вашему мнению, были причины?*

— До самого последнего времени я была уверена, что причина одна — ее шестнадцатилетний сын. Дочь была похожа на отца, Эфрона. А сын Георгий — она звала его Мур, как котика, — похож был на Цветаевых характером, всем. Марина его обожала. В шестнадцать лет он был совсем взрослый человек. В Москве, которую им с началом войны пришлось покинуть, шла эвакуация, у него был свой круг. Когда они приехали в Елабугу, Мур ей заявил, что учиться здесь, “в этой дыре”, как он выразился, не будет. И даже прозвучали такие жестокие слова: “Кого-то из нас вперед ногами отсюда вынесут”. То есть пригрозил ей самоубийством. И тогда она решила, что должна поспешить это сделать сама, чтобы он жил. Так я думала. И это, несомненно, одна из причин и, может быть, главная. А в последнее время стало известно, что в Елабуге, где ей не давали работы, жилья, всячески притесняли, ее пригласили в КГБ и предложили сотрудничать. Тогда она поняла, что, если откажется, поставит сына в трудное положение, а согласиться — невозможно. В ее последнем письме (предсмертном) была такая загадочная фраза: “Я попала в тупик” — после этого и произошло самоубийство.

Собираясь возвратиться в Россию, Марина даже представить не могла, что я в лагере. Это скрыли от нее муж и дочь, которые уже были здесь, опасаясь, что она не поедет, — знала, что политикой я никогда не займусь, значит, попала в заключение — зря.

Колесико магнитофона крутится, бесстрастно записывается каждое ее слово, в том числе и вопросы, обращенные ко мне, например читать то или иное стихотворение и в каком порядке.

Мне кажется, она не видит зал и мощное его дыхание едва ли слышит. Скорее, только догадывается по яркому свету юпитеров о том, что она в центре внимания. А зал? Как передать эту атмосферу разрастающейся любви? Зал, начавший с любопытства — не каждый день здесь бывают такие гости: 98-летняя писательница из России, прошедшая лагеря и ссылки, — с каждым новым ответом все более проникается восторгом сопричастности.

Больше часа продолжалось ее выступление. Лента в магнитофоне остановилась, и мне в напряженной тишине, с которой зал слушал ее, неловко было щелкать крышкой и переворачивать кассету. Теперь жалею об этом, потому что шквал аплодисментов остался незаписанным.

Люди стояли в проходах, не расходились, хлопали. Потом возникло стихийное движение к сцене. Словно хотели убедиться, что этот комок жизни и стойкости — не плод их воображения, а вполне реальный человек. Возможно, это был час триумфа и признания. Того, к чему она всегда относилась с иронической улыбкой.

Мы вышли в фойе, из тесного круга обступивших ее тянулись руки с голландской книгой Марины. Ей принесли стул. Она села и стала надписывать. И вдруг я увидел книгу “Моя Сибирь” с потертой обложкой.

Книга эта здесь не продавалась, ее принес с собой молодой человек по фамилии Кунин. Прорвавшись к А. И. сквозь тесное кольцо, он сбивчиво рассказывал почти невероятное: служил в армии под Москвой. Доведен был до такой грани, что уже собирался покончить с собой. Случилось так, что в библиотеке воинской части ему попала в руки “Моя Сибирь”. Был потрясен. Женщина, оказавшись в тюрьме, потом в ссылке, выжила, не впала в отчаяние. Ее пример настолько его воодушевил, что он поверил в собственные силы, в то, что сумеет выстоять.

История могла бы показаться почти святочной, если бы сейчас на коленях у А. И. не лежала эта книга с потертой обложкой, проделавшая долгий путь из России.

Ее фотографии на следующий день обошли голландские газеты, запечатлев склонившуюся над книгой голову и сухую, покрытую рельефными венами руку с пером над развернутой страницей.

Время в Голландии течет очень быстро. Уже третий день мы живем у Татьян. И каждый день столько событий, что каждое из них хотелось бы задержать, не дать исчезнуть.

Пора наконец рассказать о них. Собственно, голландка только Татьяна Дас, хозяйка дома. Ведал ли Пушкин, что его “Евгений Онегин” полюбит и здесь, в Королевстве

Нидерландов! Высокая, спортивная, с кельтской нордической жесткостью в лице и немного растерянной улыбкой. Казалось бы, ничего общего с привычным обликом Татьяны пушкинской. Но родители, выбравшие ей это имя, угадали суть будущей мечтательной и поэтической натуры. Двумя днями позже мы убедились в неординарности этих простых и гостеприимных людей, позвавших нас в свой уютный дом, заставленный книгами и цветами. Татьяна Дас переводила стихи Марины Цветаевой для сборника, вышедшего в Голландии, и, знатоки говорят, переводы удачные.

Вторая Татьяна родом из России. Какими-то судьбами занесло ее сюда лет девять назад, и Татьяна Дас приютила ее у себя. В лице ее с нежной кожей и выразительными глазами есть что-то напоминающее “Девочку с персиками” Серова. Но в противовес уравновешенной и рассудительной хозяйке дома все в ней взбаламучено, взвинчено. Учится на каких-то высших феминистских курсах, увлекается китайской гимнастикой и древнерусскими религиозными текстами, прилежно посещает церковь. Анастасией Ивановной восхищена до слез, никого к ней не подпускает. Даже не дает мне измерить ей давление. Тяжелая психоастения.

Все время попадает в какие-то необычные истории. Вчера, например, пришла с огромной коробкой пирожных: какая-то фирма проводит рекламную кампанию, для чего наняла двух парней, которые должны были их раздавать по одному, вручая одновременно проспекты компании. Таня (московская), взяв предложенное ей пирожное, сказала, что у нее сейчас гостит семья из России и одного ей мало. Сердобольные голландцы отдали ей все, что у них оставалось, т. е. всю эту огромную коробку, не вместившуюся в холодильник.

А. И. эту историю воспринимает как полуреальную и относит ее на счет сказочности всей Голландии.

Вечер. Оранжевый квадрат солнца с голубоватыми тенями оконного переплета на противоположной стене. А. И. сидит на высокой двуспальной кровати времен немецкой оккупации Амстердама, уперевшись ногами в табурет. На коленях широкий блокнот, что-то гоголевское в ее профиле, в низко склоненной над бумагой голове. За ней пристально наблюдает с подоконника кот по кличке Петр, и сюда же пружиной взметнулась серо-тигровая кошка Павел — религиозные реминисценции Татьяны-московской, давшей им имена. А. И. просит выпроводить *голубушку* в другую комнату, опасаясь, что та нечаянно царапнет по глазу. Петр, нехорошо подвывая, уклоняется от выдворения и в знак протеста оставляет на полу небольшую, но резко пахнущую лужу. Павел взметнулась на книжный шкаф и когтистой лапкой отбивается от Татьян, пытающихся ее оттуда снять. Жанровая сценка в духе “малых голландцев”.

Знаменитый “Ночной дозор” в Государственном музее, который А. И. так хотела увидеть. Огромное, во всю стену, полотно с мастерски разыгранными, напоминающими театральное действие планами, с золотистыми рембрандтовскими вспышками одежд среди темных фигур. И уже на самом переднем плане картины за границами рамы —

кресло на колесиках, а в нем легкая согбенная фигура А. И. — служительница, охраняющая картину, позволила нам подвезти ее поближе.

Всего в квартале отсюда музей Ван Гога. Осанистый служитель Рейхсмوزهя на нашу просьбу разрешить перевезти на этом кресле очень-очень пожилую леди сделал удивленные глаза — никогда еще с подобными пожеланиями к нему не обращались. Однако в ту же минуту согнал с лица изумление, очевидно не подходящее сотруднику такого музея. Второй раз брови его поднялись, когда он узнал, что посетительнице идет девяносто восьмой год и она из России.

Несколькими минутами позже прохожие не без интереса наблюдали необычную процессию: важный господин в костюме, застегнутом на все пуговицы, с достоинством толкал впереди себя музейную коляску с пожилой дамой в сильных очках, сзади же следовало человек семь-восемь — Татьяны, Мария Николаевна, я и еще несколько увязавшихся за нами.

А. И. сидела подавшись вперед, так что могло показаться, будто она что-то потеряла и теперь внимательно осматривает брусчатку улицы. На самом деле она дремала.

Какова мера иррационального у обычного человека и у художника? Ван Гог, Сальвадор Дали, Врубель... Какие графитовые стержни нужно ввести в реактор собственного безумия, чтобы творческая энергия потекла в нужное русло и дело не кончилось отделением для буйных, душевным Чернобылем?

“Маринина проза — водопад, горный поток, моя — тихий ручей, отражающий берега”, — говорила А. И. Может быть, она лучше, чем Марина, умела обуздывать собственное безумие? “Сдержанный — значит есть что сдерживать” — любила повторять Маринину фразу, примеривая ее то ко мне, то еще к кому-нибудь из знакомых. Так достают из шкафа одежду, из которой вырос, ее можно повертеть в руках, полюбоваться и без сожаления отдать другому. Но тот, кто внимательно читал ее прозу, должно быть, не раз удивлялся половодью, прорывающему плотины запретов мнимых и настоящих. Не поэтому ли в музее Ван Гога все ее приводило в восхищение?

— Импрессионизм — мое любимое в живописи. Импрессионисты пишут так, как близорукие — видят. Без линий, без подробностей — цвет, тени, масса очертаний.

“Цветущий миндаль”, “Подсолнухи”, “Комната” — возле этих картин лицо ее оживлялось, голос становился ласковым, восхищенным. Невероятное напряжение цвета, энергия каждой линии. В “Автопортрете с отрезанным ухом” — ирония, горечь перед бессмысленностью жизни. Ее уродливостью и красотой, ставшими в какой-то момент несовместимыми с жизнью художника?

В Голландии мы уже неделю. Как странно мы выпали из жизни московской. Там сейчас все бурлит, меняется день ото дня. В Москве лето 92-го года, а здесь совсем иное измерение времени. Как будто мы очутились на другой планете, где жизнь размеренна, тиха, а жителей ее занимают проблемы, совершенно нам непонятные.

Северное море в июле. Наш последний день в Голландии. Мы ехали сюда из Амстердама через Гарлем.

Вздыбленная ветром вода. Линия горизонта размыта. Ветер повалил зонтики над столиками пляжного кафе. Анастасия Ивановна сидит в углу нахохленная. Ей нездоровится. Ничто не радует. Должно быть, устала от обилия впечатлений, переездов, непривычного быта, противопоказанного пожилому человеку.

А мне этот день запомнился. Открылась совершенно иная Голландия. Голландия моря, необузданной стихии, совершенно противоположная равнинному однообразию пейзажной Голландии с ее ровно текущими молочными реками и пятнистыми коровами.

Самолет пошел на снижение. Внизу уже отчетливо видны были подмосковные леса. Улыбаясь, к нам шла стюардесса сообщить, что на Землю ею передано сообщение и в аэропорту Шереметьево — ей это уже подтвердили — нас будет ожидать транспортное средство, которым А. И. доставят от самолета к выходу. Я представил себе что-то вроде амстердамского электромобиля. Неужели и у нас завели такие для пассажиров KLM?

Мне не пришлось долго мучиться вопросами. Самолет сел под уже знакомые аплодисменты. В зале аэровокзала, пока я искал обещанный автомобильчик или хотя бы его подобие, к нам подошли два вспотевших от московской духоты грузчика.

— Цветаева? — спросил один из них, по-плотнически щурясь.

И тут я увидел их “транспортное средство”. Крашеная железная тачка, в каких возят песок на стройке.

— Давай, бабуля, садись, — его товарищ с мокрым пятном на рубашке во всю спину сгреб ее без долгих раздумий. — Поехали!

Не успел я толком сообразить, что происходит, как тачка уже громыкала где-то впереди в толпе. Двое грузчиков на одну тачку? Недоумение рассеялось быстро. Впереди была лестница, а эскалатор не работал. Судя по тому, что на нем была наставлена поломанная мебель, стоял он уже не первый день.

Грузчики подняли “транспортное средство” с безучастно сидящей в нем А. И. и стали спускаться по лестнице. Как мне казалось, довольно неуклюже. Тачка, к моему ужасу, наклонялась то в одну, то в другую сторону. Не хватало еще, чтобы они ее вывернули!

Наконец после всех треволнений мы оказались на улице перед ярким светом телекамер. Встречали А. И. ее литературный секретарь Станислав Айдинян и целая команда с Российского телевидения. Грузчики слегка опешили и, похоже, устыдились своей безобразной тачки, а главное, той бесцеремонности, с какой обращались со знаменитостью. Сама же А. И. в первый момент после того, как ощутила под ногами

размягченный жарой асфальт, еще не очень хорошо понимала — где находится, и на вопросы корреспондента по привычке последних дней в Голландии начала отвечать по-английски. А кончилось все коротким и емким словом, которое в вечерних новостях буквально облетело всю страну.

В том году шли изнурительные споры, по какому принципу делить Союз писателей, кому и какая собственность должна отойти. И корреспондент телевидения спросила, чего, на ее взгляд, не хватает нынешним российским писателям.

Ответ А. И. был предельно лаконичным:

— Таланта!